
КУРС ПО ВЫБОРУ

OPTION COURSE

*Любовная лирика овидианской традиции средневековой культуры, по оценке М. Л. Гаспарова «разрабатывающая до предельной остроты все мотивы, заданные средневековью Овидием»¹, ставит перед нами вопросы: где проходят границы этой предельной остроты и не является ли она на самом деле запредельной? каково, собственно, содержание Овидианского возрождения в интересующем нас аспекте? как понимают любовь средневековые монахи, сделавшиеся не только переводчиками и толкователями лирики Овидия, но также ее искушенными ценителями и неутомимыми подражателями? Не стоит все же забывать о сугубо спекулятивной их опытности в этом вопросе, корнящейся скорее в вербально-поэтической сфере, нежели в сфере чувственной. В нашем контексте уместно упомянуть этимологию данного термина, неожиданно обретающую новое, ситуативное, очарование: спекуляция как умозрительное рассуждение без обращения к эмпирическим данным – от лат. *speculation* ‘выслеживание, высматривание’. Своего рода разновидность литературного вуайеризма, распространившегося среди аскетов-клириков... Вот уж воистину творчество как сублимация! Впрочем, надо сказать, что применительно к невинному монаху речь может идти скорее о своего рода детском вуайеризме, имеющем познавательные цели (хотя и от гедонистических целей здесь не отмахнуться!). Одним словом, прямо иллюстрация для теории папы Зигмунда. И – в свете всего этого – какое же влияние оказала овидианская традиция на трактовку любви в культуре Средневековья?*

М. А. Можейко

¹Гаспаров М. Л. Светская поэзия XII в. // Памятники средневековой латинской литературы X–XII вв. / под ред. М. Е. Грабарь-Пассек, М. Л. Гаспарова. М., 1972. С. 431. (Здесь и далее сохранены орфографические особенности оригинала. – М. М.)

Образец цитирования:

Можейко МА. От клириков к лирикам: средневековое донжуанство и монастырский пикап. *Журнал Белорусского государственного университета. Социология*. 2019; 3:73–83.

For citation:

Mojeiko MA. From clerics to lyricists: medieval don-juanism and monastic pickup. *Journal of the Belarusian State University. Sociology*. 2019;3:73–83. Russian.

Автор:

Марина Александровна Можейко – доктор философских наук, профессор; заведующий кафедрой философии и методологии гуманитарных наук факультета культурологии и социокультурной деятельности.

Author:

Marina A. Mojeiko, doctor of science (philosophy), full professor; head of the department of philosophy and methodology of humanities, faculty of culturology and sociocultural activities.
marina-mojeiko@yandex.by

ОТ КЛИРИКОВ К ЛИРИКАМ: СРЕДНЕВЕКОВОЕ ДОНЖУАНСТВО И МОНАСТЫРСКИЙ ПИКАП

М. А. МОЖЕЙКО¹⁾

¹⁾Белорусский государственный университет культуры и искусств,
ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск, Беларусь

Рассматривается трактовка любви в контексте лирической поэзии Овидианского возрождения. В центре внимания такие вопросы, как переосмысление традиционной проблематики лирической поэзии, новые темы и сюжеты лирики поэтов-овидианцев, влияние их творчества на ортодоксально-христианский контекст и обратное влияние этого контекста на их умонастроение, роль Овидианского возрождения в легитимации любви в рамках средневековой культуры.

Ключевые слова: Овидианское возрождение; лирическая поэзия; эротическая лирика; трансформация традиционной проблематики лирических текстов; правила обольщения; протоказанова.

FROM CLERICS TO LYRICISTS: MEDIEVAL DON-JUANISM AND MONASTIC PICKUP

М. А. MOJEIKO^a

^aBelarusian State University of Culture and Arts, 17 Rabkaraŭskaja Street, Minsk 220007, Belarus

The interpretation of love is considered in the context of the lyric poetry of the Ovidian Renaissance. The focus is on such issues as the rethinking of traditional issues of lyric poetry, new themes and lyric plots of Ovidian poets, the influence of their work on the orthodox-Christian context and the reverse influence of this context on their mentality, the role of the Ovidian Renaissance in the legitimacy of love in the context of medieval culture.

Keywords: Ovidian Renaissance; lyric poetry; erotic lyricism; transformation of the traditional problematics of lyrical texts; seduction rules; proto-Casanova.

Драма монаха-овидианца: поэтическое творчество и разорванное сознание

Исследователи подчас скромно отмечают, что в средневековых переводах Овидия на французский фигурируют понятия пола и желания [1]. Эти вялые определения никак не отражают той мощи эротизма овидианского течения в средневековой литературе, которая вызвала и яркие культурные явления, и бурную реакцию на них как в смысле шквальной увлеченности, так и в плане критики (стихи этой традиции нередко оценивались современниками как «непозволительная вольность» (цит. по [2, с. 235])), а также глубокого и тяжелого раскаяния тех авторов, которые безудержно предавались этому шквалу.

Общая аксиологическая парадигма, характерная для поэзии Овидианского возрождения, исчерпывающе сформулирована Бальдериком Бургейльским, которого литературоведы называют «самым овидианским» из овидианской традиции Средневековья [2, с. 233]. Будучи монахом Бургейльского монастыря (который он, кстати, описывает как «приют, где цветут Цицероны» [3, с. 235]), Бальдерик вкладывает в уста лирического героя собственное *credo*, выражающее общую установку овидианской лирики: «Волей своей покорюсь ныне я власти любви» [4, с. 239].

Это непростой выбор в культуре, пропитанной идеалами бестелесности и аскезы, и для далеко некрепощенного клирика он не мог быть внутренне бесконфликтным, выступая причиной серьезной и болезненной драмы раздираемого противоречиями сознания. Так, Гвиберт Ножанский покаянно признается: «Я дошел... до того, что, увлекаемый своим легкомыслием, имел притязание подражать поэтическим трудам Овидия... и хотел воспроизводить всю нежность любви в созданиях собственного воображения и в сочинениях, которые писал. Мой дух, забыв всякую строгость, которой он должен подчиняться, и отбросив всякий стыд религиозной профессии монаха, так много питался обольщениями отравляющей распущенности, что и занялся только [стихосложением]... не обращая внимания на то, как оскорбительны были для устава нашего священного ордена подобные упражнения. ...Я был весь проникнут той страстью

и так помрачен обольстительными выражениями поэтов, что многое додумывал собственным воображением; иногда эти выражения производили во мне такое волнение, что я чувствовал дрожь по всему телу... Дух мой был постоянно возбужден, и я забывал всякое воздержание...» [5, с. 368–369].

Были и попытки *заклясть реальность*, т. е. убедить читателя (а в первую очередь – самого себя), что ничего особенного не происходит: можно писать эротические тексты, никак не подвергая себя греху *luxuria*². В этом отношении весьма примечателен Бальдерик Бургейльский. Он много писал в эпистолярном жанре, причем тексты его вызывают много вопросов: уместно ли вообще писать монаху любовные письма (пусть даже светским дамам, открытым для ухаживаний), а уж тем более если его адресаты – монахини? Как бы предваряя возможные обвинения, Бальдерик в каждом тексте настойчиво уверяет в дружеском характере письма и невинности своей любви. Например, Констанции – девушке, живущей в монастыре, – он пишет:

Верь, я хочу, чтоб ты верила мне и верил читатель, –
В сердце питаю к тебе я не порочную страсть.
Девственность чту я твою, да живет она долгие годы,
Чту целомудренный стыд и не нарушу его.
Я – мужчина, а ты – девица, мы молоды оба, –
Но поклянусь: не хочу стать я мужчиной твоим,
Я – мужчиной твоим, а ты – моею девицей:
Нет, да будет свята дружба в устах и сердцах.
Будьте едины, тела, но будьте раздельны, постели³;
Будь шутливо, перо, но целомудренна, жизнь... (цит. по [2, с. 234]).

И тем не менее сам Бальдерик нет-нет да и оговаривается: «Эмма, для этих стихов ты моей Музой стань» [3, с. 236], – для стихов, конечно, только для стихов, но оговорки, как мы знаем, значимы.

Моделируя письмо Овидия другу, Бальдерик Бургейльский приписывает поэту речь, посвященную безгрешной непорочности, – речь, в общем-то чуждую античной традиции⁴, но удивительно органичную для мятущегося клирика-овидианца с его по-гегелевски разорванным сознанием:

Верь⁵, он женою своей меня попрекает напрасно;
Я о женах забыл – да и с рожденья таков.
Только песни мои говорят о девических чувствах,
Но меня самого страсть не тревожит ничуть.
Чувство любви, если живо, оно рождает желание.
Но к любовным делам, видно, не тянет меня.
Правда, язык мой болтлив, но нравы мои беспорочны –
С самого детства всегда чист, как ребенок, я был... [8, с. 241].

И сколь сомнительными и недостоверными выглядят эти речи, будучи вложенными в уста язычника-римлянина, столь же несомненно попадают они в ряд шитых белыми нитками ухищрительных приемов автора-христианина: от более ранней по отношению к Бальдерiku Хротсвиты Гандерсгеймской (которая в предисловии к своим драмам очень настаивала на том, что, несмотря на написанное, «прелести / языческой мерзости / ничуть не подпала» [9, с. 84–85]) до современного ему Аллана Лилльского, блестяще демонстрирующего такой прием говорения об эротике, как *инвектива со смакованием* (см. подробно в [6]).

Именно в этом контексте оформляется такая специфическая линия овидианской традиции, как своего рода апология Публия Овидия Назона, которая учитывала факты его биографии и трактовала как несправедливую его высылку из Рима (предположительно – но не точно! – из-за противоречия пропагандиру-

²Мы уже встречались с этой стыдливой фигурой письма, обсуждая попытки средневековой литературы адаптировать к своему контексту феномены чувственности и сексуальности (см. [6]).

³Видит бог, понять это трудно... Спишем на утеранные при переводе нюансы.

⁴Справедливости ради надо отметить, что в «Скорбных элегиях» Овидия есть похожие строки: «Муза игрива моя, жизнь бесконечно скромна» [7], – но у них есть причина: это сетования сосланного поэта, которому дали повод для оправданий. Он и приводит их – любые, все из возможных, вплоть до оправдания нескромного содержания «Науки любви» тем, что она была адресована не для почтенных римских матрон: «С первых же строк удалил порядочных я от “Науки”» [7]. Да и в целом сокрушения Овидия представляют собой не моральное покаяние, но сетования на юридическую несправедливость: «...я не один сочинял любовные песни, / А наказание за них только один я понес... / Не заплатились ничем Анакреонт и Сафо» [7]. В свете понесенной кары Овидий горюет даже о том, что родители дали ему образование: «Горе! Зачем я учен... буквы зачем я узнал!» [7]. Так что это сетования на несправедливые гонения, но никак не терзания раскаявшегося моралиста, каковым предстает Овидий у Бальдерика Бургейльского.

⁵Обращает на себя внимание то обстоятельство, что и эта, и предыдущая стихотворные цитаты из Бальдерика Бургейльского начинаются с призыва «Верь» – для убедительности внушения текст строится в повелительном наклонении.

емых им идеалов любви официальной политике императора в отношении семьи и брака [10]). Примечательно (и удивительно), что средневековая апология Овидия строилась именно на идее естественной склонности человеческой натуры к любви. В контексте этой *овидиодицеи* Бальдерик Бургейльский пишет:

Знали все люди любовь, стихов твоих не читая,
Мужи и жены в веках: ты лишь поведал о ней.
Ты ли века научил или ты у веков научился? <...>
И без поэмы твоей знала Венера любовь... [4, с. 238].

Активно идет в ход уже хорошо известный и апробированный Средневековьем коварный прием убеждения – списать все на Творца:

Нашу природу издревле сам бог преисполнил любовью,
Нас она учит тому, что он ей сам преподавал.
Если преступна любовь, то преступен ее зачинатель:
Тот, кто нас научил, тот и виновен во всем.
Если любить – преступление, то жизнь сама – преступление:
Бог повелел нам жить, бог повелел и любить... [4, с. 238].

Кроме того, особый акцент делается на облагораживании любви, что значимо в свете подготовки формирования в средневековой культуре идей куртуазной традиции, и именно в этом ракурсе представляется позиция Овидия, оправдывающая его в глазах клириков и одновременно позволяющая им самим чувствовать себя оправданными:

Юношей я любви не учил, но если полюбят,
Я указывал им, как им любить и кого.
Граждан я римских учил красиво любить и учтиво,
Чтоб от простецкой любви город избавился мой... [8, с. 241].

Однако, несмотря на предпринятые интерпретационные усилия, многие авторы к концу жизни испытывали жестокое раскаяние по поводу поэтических пристрастий юности. Марбод Реннский полностью отрекается от стихов, написанных «в юности глупой... легкомысленной и неумелой» (цит. по [11, с. 221]), отказывается от епископства и замыкается в монастыре, причем оценка собственного творчества оказывается у него очень жесткой:

То, что писал я юнцом, перечитывать в старости стал я.
Стыд меня обуял, пожалел я об этих писаньях... <...>
Лучше погибнуть бы им иль вовсе на свет не родиться! (цит. по [11, с. 221]).

Бальдерик Бургейльский писал в преклонных годах покаянные стихи, называя себя безбожником, душегубом и блудодеем и истово моля о прощении (см. [2, с. 235]). Серлон Вильтонский, преподаватель риторики, грамматики и диалектики, автор любовных элегий, в которых через край была эротика, после сновидения морального содержания, поразившего его воображение, не только отказался от поэзии, но и вообще удалился от мира, причем клюнийский монастырь его не удовлетворил и был сменен им на цистерцианский, чей внутренний устав был значительно более жестким (см. [12, с. 432]).

Таких примеров можно привести немало. Поэзия Овидия оказалась очень сильным фактором воздействия на сознание ученого клирика, воспитанного средневековой традицией: в оболочке понятной латыни, легитимированной всей традицией ее предшественного безопасного теолого-схоластического бытия, открылось яркое и многоцветное, пусть и слегка опасное (а от этого еще более привлекательное) разнообразие откровенной и горячей страстности «Любовных элегий», языческого мира мифологии «Метаморфоз» и легкого цинизма «Искусства любви». Это был очень крепкий коктейль для монаха, привыкшего к млеку Писания, и сила его воздействия содержательно превзошла крепость самого напитка.

Эротическая лирика: предшественники Казановы и правила обольщения

Итак, эротизм овидианской поэзии Средневековья. Прежде всего следует отметить бросающуюся в глаза предельную откровенность повествований:

...Я приступаю тесней, обнимаю ее и целую;
Правой рукою обняв, левой касаюсь бедра.
Спорит и бьется она, но я уж нащупал рубашку,
Выше и выше тяну; вот уж открылся пушок.

Сжаты колени; разжал; и чувствую, как разымаю
Девичью нежную плоть с чувством, лишаящим чувств.
Девушка дрожью дрожит... <...>
Я же все глубже люблю, все сладострастней любовью... [13, с. 447–448].

Это не просто ново, но и совершенно нехарактерно для латинской поэзии Средневековья, до сих пор не только отличавшейся несоизмеримо большей сдержанностью, но и вообще не имевшей в своей жанровой палитре такого направления, как эротическая лирика.

Нова также и тщательно разработанная чувственность текстов: переживания передаются предельно экспрессивно, моделируются со всей возможной полнотой и глубиной, причем задействованы все органы чувств и упоминаются все ощущения – от зрительных до тактильных. Так, например, у Матвея Вандомского:

Вид твой питает мой взор и дразнит мое осязание –
Сладость вкушают глаза, голодом мучится ум... [14, с. 441].

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что тексты изобилуют подробными описаниями того, что сегодня назвали бы постельными сценами (под каким бы идиллически пасторальным стожком они ни имели место), – того, перед чем до сего времени средневековые авторы стыдливо обрывали повествование. Собственно, и не только средневековые. Из истории литературы известен примечательный факт: уже в просвещенном XIX в. «издатель, впервые извлекий из рукописей образцы стихов Серлона, был так шокирован их изысканной откровенностью, что не решился напечатать до конца его стихотворение “Где – неважно, неважно – когда...” и оборвал его на 26 стихе» (см. [12, с. 431]⁶).

Следовательно, центральным моментом, вокруг которого завязываются все фабулы, и, соответственно, кульминационным пиком сюжета выступает так называемая *взаимность* – близость героя с возделенной красавицей. Это отнюдь не та традиция, где под словом *любовь* подразумевают достижение неземного восторга от слияния душ: речь идет именно и только о сексуальной близости, ни о чем более, – в средневековой культуре возникает донжуанство как литературная традиция:

Галл воспел Ликориду, Назон пылал по Коринне –
Я же по каждой горю... <...>
Я ведь умею желать, лишь покуда девица желанна:
Можно, не тронув, желать; тронешь – желанью конец. <...>
Изголодавшийся волк не сыт единой овцой... <...>
Так и моя любовь за одной на другую стремится:
Лучше той, что имел, – та, что еще не имел.
Холод встречая, горю; огонь возбудив, холодею,
Любящих дев не любя, рвусь я к девичьей любви... [13, с. 447].

Примечательно (и опять же удивительно!), что поэты Овидианского возрождения пытаются составить своего рода своды правил, предлагая читателям практические советы, призванные помочь им преуспеть в так вот понятой *любви*. И поскольку это преуспевание должно быть обеспечено получением согласия возлюбленной на близость, то формулируются прикладные правила обольщения – своего рода средневековый пикап.

Надо заметить, базовую его максиму «меньше люби ее сам – больше полюбит она», сформулированную Серлоном Вильтонским [13, с. 446], европейская культура пронесла сквозь века; как известно, в уста Евгения Онегина А. С. Пушкин вкладывает следующее резонерское рассуждение:

Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей
И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.
Разврат, бывало, хладнокровный
Наукой славился любовной,
Сам о себе везде трубя
И наслаждаясь не любя... [15, с. 76].

Поразительное дело: все правила сложившихся диалектики, логики и схоластики, до сей поры состоявших на службе теологических диспутов и штудий, брошены на оформление новой риторики – риторики

⁶Речь идет о фрагменте процитированных выше «Любовных элегий», где мы храбро позволили себе на четыре строки больше.

соблазнения, в рамках которой убедительность обольщения основана на выстраивании фигур формального противоречия с классической ошибкой подмены термина (в данном случае, конечно, вполне сознательной):

...девушка строгой была.
Ночью, вдвоем, и строга! Ее увещал я стихами... <...>
«...То, что природой дано, грешно отвергать человеку:
Стало быть, выбор один: или любовь, или грех».
Дева не знает, как быть, страшась и того, и другого:
Девство боится любви, а простодушье – греха... [13, с. 447].

Да, далекое от логической искушенности простодушье, не замечающее выстроенной с коварным умыслом ловушки, – именно на него и делает ставку коварный ветреник: «Ах, простота, простота!...» [13, с. 448].

Соответственно, меняет облик и литературный герой: оформляется образ своего рода *протоказановы*, который, по определению Матвея Вандомского, «привык достигать цели желаний своих» и «сеет, чтоб жать не видать» [16, с. 445]. Его позиция прописывается Серлоном Вильтонским вполне убедительно и даже морально оправдывается:

Первая, знаю, обманет,
вторая противиться станет –
Лучше я сам обману
или же сам оттолкну!
Ту я люблю и другую –
а может, ни ту, ни другую?
...Обеих в объятья –
и буду с обеими спать я... [13, с. 448].

Разумеется, выстраивается и система персональных свойств, ценимых в этом контексте: кавалер должен не знать отказа, а мужья соблазняемых им женщин даже не должны испытывать к нему негативных чувств в силу его несокрушимого обаяния. Бальдерик Бургейльский пишет:

Вряд ли в охоте любовной ты мог поддаться обману,
Если бы женщину в сеть ты уловить пожелал.
Да и какую из женщин не мог сразить ты стрелами,
И пред оружием твоим кто бы сумел устоять?
Был для мужей ты опасен, но даже для них ненавистным
Не был ты никогда, ты даже их покорял.
...Все были к тебе благосклонны... [4, с. 238].

Образ записного ветреника становится модным, возникает проблема поддержания соответствующей репутации:

...по каждой горю; хватит ли духа на всех?
Раз лишь – и я утомлен; а женщине тысячи мало;
Ежели трудно и раз – как же и тысячу раз? [13, с. 447].

Марбод Реннский в «Книге о камнях» заботливо дает кавалерам совет об использовании аллектория (камня, который якобы может быть найден в желудке кастрированного петуха): если носить его за щекой, «в чреслах мужских он умеет возжечь Венера пламя» [17, с. 229].

Более того, поддержание репутации *казановы* воспринимается настолько важным, что может достигаться любыми средствами, вплоть до создания иллюзорной видимости. Матвей Вандомский пишет:

Стыдно ему неудач – и притворному рад он успеху:
Коль не под силу грешить – рад он и виду греха... [16, с. 445].

В контексте этого нагнетаемого эротизма в уста девушки Матвей Вандомский вкладывает слова: «Окружена я кольцом, – всяк вожделеет меня» [16, с. 443]. Право же, почитать поэтов этой поры – так никто ни о чем ином и не помышляет (как тут не вспомнить нашумевшую уже в XXI в. книгу Шеридана Симова «О чем думают все мужчины помимо секса», сплошь состоящую из пустых страниц [18]).

Однако девушка имеет вполне определенную нравственную позицию (т. е. мораль ею не вовсе уж забыта). В брьюлоне ответного письма девушки влюбленному клирику Матвей Вандомский моделирует эту позицию следующим образом:

...Я служу целомудрию в храме,
Вход охраняю святой, грешная мзда мне претит.
Я отвергаю любовь, я на ласки скуплюсь не из чванства –
Нет, дороже мне честь, нежели любовная лесть [16, с. 445].

И все вроде бы высокоморально и благородно, но зададимся вопросами: что именно называется здесь святым? что – храмом? что – входом во храм? не должен ли был средневековый носитель христианского мировоззрения усмотреть здесь очевидного кощунства?

А ведь не усматривал... Это совсем иная культурная среда, локализуемая далеко от ортодоксальной христианской аскезы и в ценностном, и в семантическом планах (вспомним о дифференциации в неравновесной культуре ее центра – ортодоксии, с одной стороны, и плюральной периферии – с другой (см. [19])).

В целом христианская аскеза – где-то далеко на заднем плане, а то и вовсе забыта. Так, у Петра Пиктора в поэме «Пилат», излагающей историю жизни Понтия Пилата (целиком придуманную автором и не имеющую никакого отношения к действительным историческим реалиям), сюжет о зачатии Пилата выглядит таким образом: королю предсказано звездами, что его сын, будь он зачат в предстоящую ночь, непременно «стал бы великим», однако «далеко королева» – что ж, не королева, так другая, «не с королевой, а с ней сочetaйся ночью счастливой» [20, с. 433]. Казалось бы, вот он, изначальный грех отцовского адюльтера, что привел Пилата к тому, чтобы стать погубителем Иисуса, но нет, средневековый христианский автор даже не затрагивает этого вопроса.

Тайны кельи: новые темы и сюжеты Овидианского возрождения

Изменения в аксиологии не могли не привести и к трансформациям сюжетных форм лирики, причем эти трансформации столь же ожидаемы по содержанию, сколь и неожиданны (поразительны!) по радикальности своего масштаба. Так, полностью выпадает из сферы рассмотрения поэтов-овидианцев значимая для рыцарского романа проблема дихотомии *любовь-брак* и *любовь-адюльтер*, выступающая критериальной основой для построения типологии сюжетов северофранцузского рыцарского романа (см. подробно в [21]). Как мы помним, у Серлона Вильтонского сформулировано предельно конкретно: «Где – неважно, неважно – когда, и неважно – с которой...» [13, с. 447].

Как ни удивительно, уходит из фокуса внимания авторов и проблема соотношения души и тела. В «Книге о жалобе и столкновении плоти и духа» Хильдеберт Лаварденский (поэт-овидианец в сане архиепископа) смещает акцент к проблеме внутреннего и внешнего в человеке; у Матвея Вандомского героиня также едва ли переживает эту проблему как острую, говоря скорее о том, какого рода интерес к себе хотела бы она видеть со стороны кавалера:

Не во вражде красота с добродетелью: пусть хороша я
Телом моим и лицом – все-таки лучше душой... [16, с. 445].

Зато оформляется новая тема, о которой следует упомянуть особо: это тема, связанная с сюжетом влюбленности клирика. В латинской литературе Средневековья он неожиданно предстает как одержимый страстью. Прежде такого не встречалось, однако в «Письмовнике» Матвея Вандомского, предлагающем образцы написания любовных писем, приводится и образец под названием «Клирик – девушке», – значит, такой вариант эпистолярного жанра пользовался спросом. Текст не просто эмоционален – он прямо-таки насквозь пронизан чувственностью и детальным физиологизмом:

Ночью на ложе моем испускаю стенанья и стоны:
Изголодавшись во сне, влажно блуждают глаза.
Ночью воочью стоишь предо мною, – люблюсь любимой... <...>
Мнятся мечте поцелуи твои, объятия манят,
Праздной влекусь я мечтой к ложу стыда твоего.
Мнятся Венерины царства, еще не покрытые пухом,
Царства, манящие сласть в недрах медовых своих... [14, с. 440].

Любопытно, что клирик постоянно сетует на несправедливое отношение к себе со стороны девушки:

Если бы всех ты равно отвергала, поверь, я не стал бы
Твой добродетельный пост тщетной мольбой сокрушать.
Но ведь меня одного ты гонишь, а рыцаря любишь;
Страсть презираешь мою, страстью к другому горя.
Гнусь я – он горд; молю я – он царь; пригубил я – пьет он;
Я вдалеке – он вблизи; я потянусь – он берет... [14, с. 442].

Что же касается встречных претензий к клирику со стороны девушки, которыми она оправдывает свою неуступчивость, то они выглядят и совсем уж неожиданно:

Клирик неверен в любви, любовь у него быстролетна,
Мыслит он лишь об одном – розу девичества смять,
Лилии чистой цветок он рвет бесстыдной рукою,
В прах бросает и прочь к новым летит цветникам...
Всюду недолгий он гость, отовсюду беглец торопливый,
Злато девических ласк он расточает, глумясь... [16, с. 445].

Тема эта разработана в овидианской литературе весьма глубоко и всесторонне: рассматриваются даже незавидные перспективы детей, рожденных от священника:

Клирику сына родишь – его и травят и мучат:
Кличут: «безмозглый дурак», кличут: «алтарный сынок»... [16, с. 444].

То есть моральное осуждение со стороны общества все же предполагается, но сама постановка вопроса какова!

Еще более впечатляет то обстоятельство, что специальный акцент делается на обсуждении уж совсем невероятного доселе вопроса: кто именно предпочтительнее в качестве возлюбленного (любовника) – рыцарь или клирик? Подобный сюжет не просто с трудом вписывается в привычную стилистику латинской литературы – сама постановка этой проблемы кажется невозможной в контексте средневекового пиетета перед клиром, но – тем не менее...

Следует отметить, что тема эта трактуется неоднозначно и рассматривается с различных позиций: разные авторы по-разному расставляют приоритеты.

Так, монах может рассматриваться как негодный для любви, и его оценка в качестве кавалера крайне нелицеприятна: «Словно пиявка, он тянет вино из стеклянных бокалов», «Шея, как башня, стоит, жирные складки висят» [16, с. 444]. Матвеем Вандомским перечисляется в этом ряду «вечное пенье псалмов и шарканье сбитых сандалий», «ряса – лоскут к лоскуту, с давних не мытая пор», в то время как «тем, кто служит любви, иное обличье пристало...» [16, с. 446].

Таким образом, рыцарь вроде бы в приоритете. Однако этих взглядов придерживаются далеко не все авторы, встречаются оценки и полностью противоположные. Например, в таком памятнике, как «Прение Флоры и Феллиды», приводится абсолютно альтернативная позиция:

И собравшись на зов и принявши меры,
Чтобы справедливости соблюсти примеры,
Молвил суд обычая, знания и веры:
«Клирик выше рыцаря в царствии Венеры» (цит. по [22, с. 30]).

Впрочем, с точки зрения девушки, особой разницы-то и нет, о чем она и говорит, обращаясь к помогающему ее клирику:

Ты упрекаешь меня, что любовь меня к рыцарю клонит?
Зря упрекаешь, поверь: мной не заслужен упрек.
Рыцарь таков же, как ты, он так же кружит надо мною. <...>
Требуешь – я не даю; вздыхает – я слух замыкаю... <...>
Множит мольбами мольбы, посулами множит посулы... [16, с. 445].

Между тем позиция девушки (на первый взгляд вроде бы высокоморальная) тоже не совсем безупречна. В основе ее лежат не нравственные максимы как таковые, но опасения сугубо практического свойства: как бы не прогадать на ярмарке невест, как бы «с торгов не пойти на посмеяние всем» [16, с. 445].

Клирик сам по себе может быть вполне притягательным для девушки:

Впрочем, ты ведь красив, и был бы любви ты достоин,
Если бы лишь пожелал к миру вернуться опять... [16, с. 446].

В «Письмовнике» Матвея Вандомского девушка говорит клирику: «Что неприятно в тебе? Гуменце, побритое сверху» [16, с. 446], – т. е. не особенность внешности, но знак статуса, в силу которого положение «поповой жены» [16, с. 444] оказывается унижительным:

С клириком жить – незавидный удел: народ попрекает,
Шут смеется в лицо, блудные девки язвят,
Всем я позорище, черни посмешище, людям потеха:
Чудище видят во мне, пальцами тычут мне вслед... [16, с. 444].

В качестве нравственного поведенческого образца Матвей Вандомский предлагает девушке принять в отношении горящего страстью клирика вполне конкретную позицию: «Сбрось свою рясу, женись, – верно буду женой» [16, с. 446], – что лежит уже в бытовой плоскости и совсем далеко от ужасаний по поводу греховности монаха. Мораль здесь не облачается более в религиозные одежды, и в целом речь фактически идет о нормах морали не как о должном, но как о сущем – о реальном бытовании нравственных правил повседневности, не выходящих за рамки обыденной практичности.

Отважная эротика: роль Овидианского возрождения в легитимации темы любви в культуре Средневековья

В свете сказанного – важная ремарка перед финалом. Разумеется, было бы ошибкой не обратить внимания, что наметившаяся либерализация в отношении сексуальности открыла возможность для развития тенденции, которая приведет к формированию специфического ответвления от овидианской традиции, сближающегося с натуралистическими тенденциями фаблио и шванков, обнаженностью поэзии голиардов и т. п. В этом контексте могут быть рассмотрены, например, «Зерцало глупости» Нигелла Вирекера, «Амфитрионеида» Виталия и др. Но это – отдельная тема, и речь о ней еще впереди.

В целом же, по мнению Э. Жильсона, идеи средневековой овидианы «более рафинированы», чем даже идеи самого Овидия [23, р. 214]. Собственно, они и не могли быть иными, поскольку оформлялись не в пространстве радостного язычества с его жизнеутверждающими идеалами красоты и естественности, но в поле христианской традиции, притяжение (давление) которой приходилось внутренне преодолевать, всегда помня о границах.

Исследователи отмечают характерную для Серлона Вильтонского «бравату “либертинажем” на античный лад» [12, с. 432]. Подобная бравада характерна практически для всех представителей овидианской традиции, подводя порой их стихотворения к рискованным рубежам. Такая бравада объяснима: это не что иное, как инспирирование себя на героическое противостояние контексту – противостояние, финал которого был непредсказуем и которое вполне могло закончиться и зачастую заканчивалось – таки плохо (хотя бы и по причине неприятия продуктов творчества собственным внутренним цензором). И давалось это, как мы видели, нелегко. Вместе с тем нельзя не отметить, что в большинстве своем произведения Овидианского возрождения – при всей своей откровенности, не исключаяющей физиологизма и доходящей подчас до натуралистичности, – тем не менее остаются в определенных рамках, не становясь ни грубыми, ни грязными. Это еще не скабрзность и не вульгарность, это скорее искренняя растерянность Средневековья перед открывшейся новой культурной реальностью – текстами Овидия, самим своим существованием постулирующими возможность поэтизации телесности, чувственности, сексуальности.

Сама по себе овидианская лирика Средневековья так же далека от скабрзности, как и от *обожествления плоти*, хотя в литературе встречаются и те, и другие крайние оценки (см. [24]).

Как правило, нет в овидианских произведениях и гривуазной игривости, которая возникнет позднее (хотя первые шаги тоже, безусловно, сделаны), – они просто откровенны, сознательно, отважно и отчаянно – в полном и первозданном смысле этого слова – откровенны, и тем сильны.

И еще: безусловно, содержательно поэзия Овидия оказала несомненное влияние и на романы, и на лирику конца XI – начала XIII в., – собственно, на все тексты о любви этого времени. Но наиболее важным вектором влияния был здесь именно вектор легитимации: Овидий не только и даже не столько вызвал к жизни зарождающуюся традицию средневековой эротической лирики, сколько послужил убедительным аргументом в обосновании ее правомерности – убедительным, ибо в контексте любого средневекового *возрождения* апелляция к Античности была весомой гирикой на чашу говорящего, а тут еще говорящими были клирики – вроде бы носители заведомо легитимной ортодоксии.

Библиографические ссылки

1. Desmond M. Gender and desire in medieval French translations of Ovid's amatory works. In: Clark JG, Coulson FT, McKinley KL, editors. *Ovid in the Middle Ages*. Cambridge: Cambridge University Press; 2011. p. 108–123.
2. Гаспаров МЛ. Бальдерик Бургейльский. В: Грабарь-Пассек МЕ, Гаспаров МЛ, редакторы. *Памятники средневековой латинской литературы X–XII вв.* Москва: Наука; 1972. с. 233–235.
3. Бальдерик Бургейльский. К Эмме, при посылке стихов. В: Грабарь-Пассек МЕ, Гаспаров МЛ, редакторы. *Памятники средневековой латинской литературы X–XII вв.* Москва: Наука; 1972. с. 235–236.
4. Бальдерик Бургейльский. Флор – Овидию. В: Грабарь-Пассек МЕ, Гаспаров МЛ, редакторы. *Памятники средневековой латинской литературы X–XII вв.* Москва: Наука; 1972. с. 237–240.
5. Гвиберт Ножанский. О своей жизни. В: Грабарь-Пассек МЕ, Гаспаров МЛ, редакторы. *Памятники средневековой латинской литературы X–XII вв.* Москва: Наука; 1972. с. 367–369.

6. Можейко МА. Обратная сторона медали, или Эротическое подполье средневековой культуры. *Журнал Белорусского государственного университета. Социология*. 2017;4:162–167.
7. Публий Овидий Назон. Элегия Единственная. В: Публий Овидий Назон. Скорбные элегии. Письма с Понта [Интернет]. Москва: Наука; 1978 [протитировано 5 января 2019 г.]. Доступно по: <http://ancientrome.ru/antlitrt/t.htm?a=1303007002>.
8. Бальдерик Бургейльский. Овидий – Флору. В: Грабарь-Пассек МЕ, Гаспаров МЛ, редакторы. *Памятники средневековой латинской литературы X–XII вв.* Москва: Наука; 1972. с. 240–243.
9. Хротсвита Гандерсгеймская. Предисловие к драмам. В: Грабарь-Пассек МЕ, Гаспаров МЛ, редакторы. *Памятники средневековой латинской литературы X–XII вв.* Москва: Наука; 1972. с. 83–85.
10. Вулих НВ. Овидий и Август. *Вестник древней истории*. 1968;1:151–160.
11. Гаспаров МЛ. Марбод Реннский. В: Грабарь-Пассек МЕ, Гаспаров МЛ, редакторы. *Памятники средневековой латинской литературы X–XII вв.* Москва: Наука; 1972. с. 220–221.
12. Гаспаров МЛ. Светская поэзия XII в. В: Грабарь-Пассек МЕ, Гаспаров МЛ, редакторы. *Памятники средневековой латинской литературы X–XII вв.* Москва: Наука; 1972. с. 430–432.
13. Серлон Вильтонский. Любовные элегии. В: Грабарь-Пассек МЕ, Гаспаров МЛ, редакторы. *Памятники средневековой латинской литературы X–XII вв.* Москва: Наука; 1972. с. 446–448.
14. Матвей Вандомский. Клирик – девушке. (Из «Письмовника»). В: Грабарь-Пассек МЕ, Гаспаров МЛ, редакторы. *Памятники средневековой латинской литературы X–XII вв.* Москва: Наука; 1972. с. 440–443.
15. Пушкин АС. Евгений Онегин. В: Пушкин АС. *Собрание сочинений. Том 4.* Москва: Государственное издательство художественной литературы; 1960. с. 5–198.
16. Матвей Вандомский. Девушка – клирику. (Из «Письмовника»). В: Грабарь-Пассек МЕ, Гаспаров МЛ, редакторы. *Памятники средневековой латинской литературы X–XII вв.* Москва: Наука; 1972. с. 443–446.
17. Марбод Реннский. Из «Книги о камнях». В: Грабарь-Пассек МЕ, Гаспаров МЛ, редакторы. *Памятники средневековой латинской литературы X–XII вв.* Москва: Наука; 1972. с. 228–230.
18. Симов ИИ. *О чем думают все мужчины помимо секса.* Москва: Рипол Классик; 2013. 240 с.
19. Можейко МА. Что же делать с любовью, или Пропасть и попытки ее преодоления. *Журнал Белорусского государственного университета. Социология*. 2018;2:122–127.
20. Петр Пиктор. Пилат. В: Грабарь-Пассек МЕ, Гаспаров МЛ, редакторы. *Памятники средневековой латинской литературы X–XII вв.* Москва: Наука; 1972. с. 423–439.
21. Можейко МА. Любовь как награда за подвиг: трактовка любви в северофранцузском рыцарском романе. *Журнал Белорусского государственного университета. Социология*. 2018;4:126–133.
22. Ле Гофф Ж. *Интеллектуалы в Средние века.* Руткевич АМ, переводчик. 2-е издание. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета; 2003. 160 с.
23. Gilson E. *La Theologie mystique de saint Bernard.* Paris: J. Vrin; 1934. 253 p.
24. Barkan L. *The Gods Made Flesh: Metamorphosis & the Pursuit of Paganism.* New Haven: Yale University Press; 1986. 398 p.

References

1. Desmond M. Gender and desire in medieval French translations of Ovid's amatory works. In: Clark JG, Coulson FT, McKinley KL, editors. *Ovid in the Middle Ages.* Cambridge: Cambridge University Press; 2011. p. 108–123.
2. Gasparov ML. [Balderick of Burgeilia]. In: Grabar-Passek ME, Gasparov ML, editors. *Pamyatniki srednevekovoi latinskoi literatury X–XII vv.* [Monuments of medieval Latin literature of the 10th–12th centuries]. Moscow: Nauka; 1972. p. 233–235. Russian.
3. Balderick of Burgeilia. [To Emma, when sending poems]. In: Grabar-Passek ME, Gasparov ML, editors. *Pamyatniki srednevekovoi latinskoi literatury X–XII vv.* [Monuments of medieval Latin literature of the 10th–12th centuries]. Moscow: Nauka; 1972. p. 235–236. Russian.
4. Balderick of Burgeilia. [Fom Flor – to Ovid]. In: Grabar-Passek ME, Gasparov ML, editors. *Pamyatniki srednevekovoi latinskoi literatury X–XII vv.* [Monuments of medieval Latin literature of the 10th–12th centuries]. Moscow: Nauka; 1972. p. 237–240. Russian.
5. Guibert of Nogent. [About his life]. In: Grabar-Passek ME, Gasparov ML, editors. *Pamyatniki srednevekovoi latinskoi literatury X–XII vv.* [Monuments of medieval Latin literature of the 10th–12th centuries]. Moscow: Nauka; 1972. p. 367–369. Russian.
6. Mojeiko MA. The flip side of coin, or The erotic underground of medieval culture. *Journal of the Belarusian State University. Sociology*. 2017;4:162–167. Russian.
7. Publius Ovidi Nazon. [Elegy Single]. In: Publius Ovidi Nazon. *Skorbnye elegii. Pis'ma s Ponta* [Mournful elegies. Letters from the Ponto] [Internet]. Moscow: Nauka; 1978 [cited 2019 January 5]. Available from: <http://ancientrome.ru/antlitrt/t.htm?a=1303007002>. Russian.
8. Balderick of Burgeilia. [Fom Ovid – to Flor]. In: Grabar-Passek ME, Gasparov ML, editors. *Pamyatniki srednevekovoi latinskoi literatury X–XII vv.* [Monuments of medieval Latin literature of the 10th–12th centuries]. Moscow: Nauka; 1972. p. 240–243. Russian.
9. Hrotsvita from Gandersheim. [Preface to the drama]. In: Grabar-Passek ME, Gasparov ML, editors. *Pamyatniki srednevekovoi latinskoi literatury X–XII vv.* [Monuments of medieval Latin literature of the 10th–12th centuries]. Moscow: Nauka; 1972. p. 83–85. Russian.

10. Vulikh NV. Ovid and Augustus. *Vestnik drevnei istorii*. 1968;1:151–160. Russian.
11. Gasparov ML. [Marbod of Rennes]. In: Grabar-Passek ME, Gasparov ML, editors. *Pamyatniki srednevekovoi latinskoj literatury X–XII vv.* [Monuments of medieval Latin literature of the 10th–12th centuries]. Moscow: Nauka; 1972. p. 220–221. Russian.
12. Gasparov ML. [The 12th century secular poetry]. In: Grabar-Passek ME, Gasparov ML, editors. *Pamyatniki srednevekovoi latinskoj literatury X–XII vv.* [Monuments of medieval Latin literature of the 10th–12th centuries]. Moscow: Nauka; 1972. p.430–432. Russian.
13. Serlon of Wilton. [Love elegies]. In: Grabar-Passek ME, Gasparov ML, editors. *Pamyatniki srednevekovoi latinskoj literatury X–XII vv.* [Monuments of medieval Latin literature of the 10th–12th centuries]. Moscow: Nauka; 1972. p. 446–448. Russian.
14. Matthew of Vendome. [From cleric – to girl. (From «Book of Letters»)]. In: Grabar-Passek ME, Gasparov ML, editors. *Pamyatniki srednevekovoi latinskoj literatury X–XII vv.* [Monuments of medieval Latin literature of the 10th–12th centuries]. Moscow: Nauka; 1972. p. 440–443. Russian.
15. Pushkin AS. [Eugene Onegin]. In: Pushkin AS. *Sobranie sochinenii. Tom 4* [Collected works. Volume 4]. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoj literatury; 1960. p. 5–198. Russian.
16. Matthew of Vendome. [From girl – to cleric. (From «Book of Letters»)]. In: Grabar-Passek ME, Gasparov ML, editors. *Pamyatniki srednevekovoi latinskoj literatury X–XII vv.* [Monuments of medieval Latin literature of the 10th–12th centuries]. Moscow: Nauka; 1972. p. 443–446. Russian.
17. Marbod of Rennes. [From the «Book about Stones»]. In: Grabar-Passek ME, Gasparov ML, editors. *Pamyatniki srednevekovoi latinskoj literatury X–XII vv.* [Monuments of medieval Latin literature of the 10th–12th centuries]. Moscow: Nauka; 1972. p. 228–230. Russian.
18. Simove Sh. *What Every Man Thinks About Apart From Sex*. Chichester: Summersdale; 2011. 196 p.
Russian edition: Simove Sh. *O chem dumayut vse muzhchiny pomimo seksa*. Moscow: Ripoll Classic; 2013. 240 p.
19. Mojeiko MA. What to do with a love, or The abyss and attempts to overcome it. *Journal of the Belarusian State University. Sociology*. 2018;2:122–127. Russian.
20. Peter Pictor. [Pilate]. In: Grabar-Passek ME, Gasparov ML, editors. *Pamyatniki srednevekovoi latinskoj literatury X–XII vv.* [Monuments of medieval Latin literature of the 10th–12th centuries]. Moscow: Nauka; 1972. p. 423–439. Russian.
21. Mojeiko MA. Love as a reward for the feat: the interpretation of love in the North French knightly romance. *Journal of the Belarusian State University. Sociology*. 2018;4:126–133. Russian.
22. Le Gof J. *Intellektualy v Srednie veka* [Intellectuals in the Middle Ages]. Rutkevich AM, translator. 2nd edition. Saint Petersburg: Publishing House of the Saint Petersburg University; 2003. 160 p. Russian.
23. Gilson E. *La Theologie mystique de saint Bernard*. Paris: J. Vrin; 1934. 253 p.
24. Barkan L. *The Gods Made Flesh: Metamorphosis & the Pursuit of Paganism*. New Haven: Yale University Press; 1986. 398 p.

Статья поступила в редколлегию 17.07.2019.
Received by editorial board 17.07.2019.